

Александр ГАБРИЭЛЬ

МАШИНА ВРЕМЕНИ

И длилось детство, чистое, как горница,
хоть были там бессонница, бескормица,
обломки недостроенных мостов...
Но время как буденновская конница,
ворвавшаяся с гиканьем в Ростов —

оно не назначает вам свидания,
оно взрывает сваи мироздания,
взметая ввысь улегшуюся пыль,
и возвращает счастье и страдания —
весь старый стиль, годящийся в утиль,

весь этот быт с приемниками громкими,
дискуссии с соседями неробкими,
познавшими печаль своих утрат,
и дворик меж хрущевскими «коробками»,
темневший, как Малевича квадрат.

В уэллсовском безумном ускорении
летит куда-то вдаль машина времени
и честно возвращает мне мое
фрагментами случайными и древними
страны, где на веревке меж деревьями
постиранное сушится белье.

ПРИЕМНАЯ

Сонливая тихая осень,
приемная в офисе стуж...
Читаются Бродский и Лосев,
восторженно пишется чушь.
Тревогою пахнет, дефолтом,
мгновением, прожитым зря...
И красное смешано с желтым
на мокром лице октября.
И ветер уносит в котомке
сокровища теплого дня...
Как в странной замедленной съемке,
исходит на шаг беготня.

Александр Михайлович Габриэль — трижды лауреат конкурсов им. Николая Гумилева (2007, 2009, 2018), обладатель премии «Золотое перо Руси» 2008 года, автор многочисленных газетных и журнальных публикаций в США, России и других странах. Автор шести книг. С 1997 года проживает в пригороде Бостона (США).

В одну из воздушных воронок,
штурвал свойломав и рули,
все падает лист-октябренок,
никак не коснется земли...
Дождливое многоголосье
становится звуком души...
Читаются Бродский и Лосев.
Молчи. Ничего не пиши.

КОММУНАЛКА НАЧАЛА 50-Х

Как трудно в коммуналке быть поэтом!
Извечная проблема с туалетом.
Беда, когда несчастно естество.
Над лампочкой у входа мошки — роём...
Иван Кузьмич страдает геморроем
и гайморитом, черт поймет его.

В дырявой майке, хмурый, одноглазый;
мат щерится почти из каждой фразы,
сводясь лишь к одному: «Попробуй тронь!»
Ивана Кузьмича никто не любит.
Он в комнатном своем унылом кубе
смолит «Казбек», насилует гармонь.

А говорят, он был другого нрава,
когда была жива супруга Клава,
он в Ялту ездил с ней и в Геленджик...
Умел быть обаятельным, чертяка!..
Теперь трезвонят про него двояко:
мол, был в плену. Сомнительный мужик.

Из мебели в его каморке — койка,
стол, старый табурет и мухобойка...
И как в любой из многих прочих нор,
на стеночке, крошащейся и хрупкой, —
великий человек, дымящий трубкой,
заправленной «Герцеговиной Флор».

АННА

Скрылась очарованная даль,
стаивает память, словно льдина...
Анна Герман. Голоса хрусталь,
равно хрупкий и непобедимый.
Помнится тот голос иногда;
в нем звучит печальная истома:
«Светит незнакомая звезда,
снова мы оторваны от дома».

Ариадна размотала нить,
о Тесее неустанно плача...
Дом сменился, что греха таить,
в звездном небе тоже все иначе —
черный безразличный парагон...
Даже днем на кленах — клочья хмари.
Хоть совсем писали о другом
Добронравов с Пахмутовой в паре.
Все границы стерлись в полумгле.
«Радуйся! — твердим себе. — Enjoy it!»
До чего ж условно на земле
разделение на «свое» — «чужое»!
Все у нас вразброс, наоборот...
Вон — морошка вместо эвкалипта...
Но жива надежда, как народ,
сорок лет бродивший по Египту.
Здесь у нас туманы и дожди,
серое надгробье небосвода...
Но и там, откуда мы, поди,
тоже некурортная погода.

Но однажды, знаю, там и тут
под притихший в небе отзвук грома
праздничными звездами взойдут
взлетные огни аэродрома.

ТАБУРЕТОЧКА

О, время, когда ты, взрослевший помесечно,
пытливо оттачивал зренья и слух!
И клетка грудная обширнее лестничной
была от восторга, спиравшего дух.
Цвели за оконцем объекты ботаники,
на солнышке грелся домашний причал...
На кухоньке крохотной жарились драники,
сковорцы голосили, и воздух шкворчал.
Все рядом: подсвечник со ржавою ножкою,
сосед-старикан, энергичный, как тролль...
И спал под подушкой и красной обложкою
сам Матиуш Первый, великий король.
Обои, от тягот и времени выгорев,
седой потолок подпирала плечом...
И звал меня Ким за компанию с Игорем,
стуча по асфальту футбольным мячом.
И я, каждой детской вибрируя клеточкой,
во двор вылетал, от горшка два вершка,
и вечно ногой задевал табуреточку,
с которой читал для гостей Маршака.

ОТТИСК

Я сплю. И сны мои — отстой,
скрап, переполнивший мартен.
Как будто я курю кальян...
Дым — в воздух сонный:
Лев Николаевич Толстой
в лаптях от фирмы «Лабутен»
на самой Ясной из Полян
стрижет газоны.

Я врос душой в забытый век,
который день не пью, не ем,
забыл попсу, забыл Du Hast —
не греют душу.
Как всякий лишний человек,
включаю радио FM —
там Достоевского подкаст.
Не грех послушать.

Застрявший между знаков «STOP»
с печалью наедине,
я ждал от жизни перемен,
от скетчей — драмы.
Но веря в личный стетоскоп,
задумчиво пропишут мне
Булгаков с Чеховым рентген
с кардиограммой.

Когда-нибудь наверняка
в грядущем, на исходе дня
найдется Ариадны нить
среди вещдоков.

Ну а пока-пока-пока
звонит мобильник, и меня
на хутор бабочек ловить
зовет Набоков.

Сон был. И он остался сном,
в нем нет ни следствий, ни причин.
Как прежде, свет граничит с тьмой.
Ни звезд, ни терний...
И я всего лишь об одном
прошу: останься различим,
постфайзеровский оттиск мой
на постмодерне.